

Н. НЕКРАСОВ

О ЗНАЧЕНИИ ФОРМ
РУССКОГО ГЛАГОЛА

ПЕТЕРБУРГ

О ЗНАЧЕНИИ

ФОРМЪ РУССКАГО ГЛАГОЛА.

СОЧИНЕНИЕ

П. НЕКРАСОВА.

(Посвящается Ф. И. Буслаеву.)

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Въ типографии и литографии И. Паульсона и К°

—
1865.

Дозволено цензурою С.-Петербургъ, 5-го Февраля 1865 года.

Феодоръ Ивановичъ!

Книга, посвящаемая Вамъ, содержитъ много несогласного съ тѣмъ, что находится въ Вашемъ почтенномъ труде «Исторической Грамматики Русскаго языка». Сознавая вполнѣ моей достоинства Вашей книги, я однако расхожусь съ нею относительно теоретической ея части; ибо здѣсь вы сльдовали по большей части принятой уже теоріи, которая нашла для себя въ Вашемъ труде только полнѣшее и лучшее изложеніе. Впрочемъ, множество замѣчательнѣйшихъ примѣровъ и любопытнейшихъ примѣчаній въ Вашей книгу неопровергнуто свидѣтельствуетъ о разладѣ, который испытывали Вы сами, сравнивая данныя языка съ подробнѣ, но невѣрно, развиившеся ею теоріею. Поэтому, сознавая, можетъ быть, болѣе, чѣмъ кто-либо, несостоятельность этой послѣдней, Вы желали примирить ее, по возможности, съ богатствомъ собраннаго Вами матеріала. Но примиреніе оказалось невозможнымъ даже и подъ перомъ Вашимъ. Оттого въ Исторической Грамматикѣ яснѣ обнаружилась несостоятельность существующей теоріи, чѣмъ въ другихъ грамматикахъ, въ которыхъ языкъ на-

сильно, прямо подводился под известную систему теоріи. В этом отношении Ваш поченный труд имълъ для меня особенное достоинство. Внимательное изучение какъ сильной, такъ и слабой его стороны, въ связи съ народною словесностью, навело меня на некоторые, смыю сказать, новыя мысли относительно духа русскаго языка и послужило проводомъ къ изданію въ свѣтъ моего сочиненія. Вотъ почему, не смотря на разногласіе моихъ мнѣній съ существующей въ Вашей книжкѣ теоріею, я считаю за честь признать свое сочиненіе обязаннымъ влиянию Вашего труда и посвятить его съ глубокимъ уважениемъ Вашему имени, надѣясь, что, не смотря на свои недостатки, оно заслужитъ Вашего лестнаго для меня вниманія.

H. Некрасовъ.

О ГЛАВЛЕНИЕ.

	Страницы
<i>Введение</i>	1
Гл. I. Значение глагола, какъ особаго разряда словъ въ русскомъ языке, и значение его въ живомъ употреблении, т. е. въ рѣчи. Грамматические залоги. Смыслъ русской частицы <i>ся</i> при глаголахъ. Дѣление русскихъ глаголовъ на два разряда	25
Гл. II. О формахъ русского глагола: существительной и личной	85
Гл. III. Объ отсутствіи формъ въ Русскомъ языке для обозначенія временъ глагола	117
Гл. IV. О степеняхъ Русского глагола	140
Гл. V. О глаголахъ, сложныхъ съ предлогами	175
Гл. VI. О прилагательныхъ формахъ русского глагола	247
Гл. VII. Какимъ образомъ выражаются времена въ Русскомъ глаголѣ?	297

В В Е Д Е Н И Е.

Наша русская грамматика пользуется весьма незавидною славою. Вотъ что говорить о ней знатокъ русскаго народнаго языка, В. И. Да́ль, въ IV выпускѣ своего полезнаго труда (я разумѣю «Толковый словарь живаго великорусскаго языка» (вып. IV, стр. IV): «составитель словаря искони былъ въ какомъ то разладѣ (съ грамматикою), не умѣя примѣнить ее къ нашему языку и чуждаясь ее, не столько по разсудку, сколько по какому то темному чувству опасенія, чтобы она не сбила его съ толку, не опшолярила, не стѣснила свободы пониманья, не обузила бы взгляда. Недовѣрчивость эта основана была на томъ, что онъ всюду встрѣчалъ въ русской грамматикѣ латинскую и нѣмецкую, а русской не находилъ.» Дѣйствительно, наша грамматика изобилуетъ схоластикою и вовсе непримѣнна къ пониманію роднаго языка. Время наложило на нее тяжелымъ гнетомъ общіе сухіе пріемы и взгляды, отъ которыхъ невольно станешь въ тулики при изученіи живой рѣчи. Стоитъ сравнить новые и старые учебники, чтобы вполнѣ убѣдиться въ справедливости сказанной мысли. Почти всюду тѣ же пріемы, тѣ же способы изложения. Вездѣ вѣтъ однимъ и тѣмъ же тлетворнымъ духомъ править и исключений. Вездѣ языкъ рассматривается, какъ трупъ не смотря на предисловія, въ которыхъ авторы обѣщаютъ обращаться съ языкомъ, какъ съ живымъ организмомъ. Если встрѣчается различіе въ изложеніи и пріемахъ, то онъ заключается лишь во виѣшности ихъ. Въ одномъ учебникѣ напр. насчитывается болѣе, въ другомъ менѣе частей рѣчи. Въ одномъ грамматика дѣлится на четыре части: этимологію, синтаксисъ, ореографію и просодію; въ другомъ на двѣ: этимологію и синтаксисъ. Въ одномъ прежде говорится о глаголѣ, въ другомъ грамматика начинается съ имени существительнаго. Въ иныхъ учебникахъ правила предшествуютъ примѣрамъ, въ другихъ — при-

мѣры правилъ и т. п. Но теорія оставалась во всѣхъ одна и также. Она вошла, такъ сказать, въ плоть и кровь нашихъ учениковъ. Отъ ея вліянія не свободенъ самый послѣдній и самый замѣчательный трудъ, я разумѣю «Историческую Грамматику» профессора Ф. И. Буслаева. Историческая почва, внесенная въ изученіе русскаго языка, рѣзко отличаетъ ее отъ всѣхъ бывшихъ прежде грамматикъ съ однимъ теоретическимъ изложеніемъ. Одно это дѣло уже представляетъ весьма важную услугу, которую почтенный авторъ оказалъ русской грамматикѣ, какъ наукѣ. Но кромѣ того въ его книгѣ есть и другое не менѣе важное достоинство: авторъ постоянно обращаетъ вниманіе на различіе между языкомъ книжнымъ, и живымъ народнымъ. Такимъ образомъ онъ первый указалъ въ своей грамматикѣ на эти, такъ сказать, три струи, бѣгущія по руслу развитія нашего языка: историческую, книжную и живую народную. Фактическая сторона по этимъ тремъ направленіямъ развитія языка указана авторомъ въ возможно полнѣмъ объемѣ. Все это дѣлаетъ его книгу необходимою для каждого, занимающагося изученіемъ русскаго языка. Но при всѣхъ важныхъ и неоспоримыхъ достоинствахъ она имѣетъ и свою слабую сторону въ теоретическомъ отношеніи. Факты, взятые изъ исторіи языка, изъ его устнаго народнаго и книжнаго употребленія не связаны между собою органически. Авторъ почти во всемъ въ сущности остался вѣрнымъ тому же теоретическому взгляду на разработку ихъ, который существовалъ до его книги. Вліяніе теоріи, предписывающей правила языку, необходимо должно было ограничить ученую разработку собраннаго авторомъ богатаго материала дѣятельностю троякаго рода: одно онъ долженъ былъ отбрасывать, другое — замѣнять, третье — прибавлять, но все это дѣлать въ духѣ прежнихъ правилъ и исключений. Поэтому хотя теоретическая часть труда профессора въ сущности отличается тѣмъ же направленіемъ, какое было и прежде, но она излагается съ такою точностью и ясностью, до какой можетъ достигнуть полное и добросовѣстное изученіе языка съ точки зрѣнія установленвшейся уже теоріи. Но именно это-то послѣднее достоинство — достоинство изложенія — и служитъ объясненіемъ того, что въ «Исторической Грамматикѣ» передъ лицомъ фактовъ языка отразилась, какъ въ зеркаль, несостоятельность принятой авторомъ теоріи. Какъ бы то ни было книга профессора Буслаева имѣеть для науки два весьма важныхъ значенія: съ

одной стороны она представляетъ замѣчательный и обильный материалъ для изученія языка; съ другой — полную теорію нашихъ грамматикъ, изложенную съ большею ясностю и знаниемъ дѣла. Читая ее, мы увидѣли, что идти далѣе по тому же пути въ изложениіи теоріи нѣкуда; а между тѣмъ множество фактовъ въ языкѣ остаются безъ надлежащаго объясненія. Вотъ почему мы пользуемся исключительно этой книгою для возраженій противъ существующей теоріи русской грамматики, и, несмотря на несогласіе нашихъ выводовъ съ нею, считаемъ долгомъ быть признательными ей, какъ труду, наведшему насъ своею фактическою стороною на новыя мысли о русскомъ глаголѣ.

Вернемся теперь нѣсколько назадъ къ вопросу о теоріи принятой вообще въ нашихъ грамматикахъ и постараемся объяснить вкратцѣ причины ея несостоятельности. Было уже замѣчено, что главный, существенный недостатокъ состоить въ *непримѣнимости* ея къ языку русскому. Но откуда же эта *непримѣнимость*, когда вся забота авторовъ грамматикъ и состояла иль томъ, чтобы примѣнять ту или другую теорію къ нашему языку? Изъ того ложнаго метода, отъ котораго въ нашъ вѣкъ вся науки освобождаются мало по малу. Теперь не мысль повѣряется фактомъ, а изъ фактовъ дѣлаются непосредственныя выводы. Ни къ чему въ настоящее время нельзя подходить съ самодовольнымъ чувствомъ знатока и съ готовою мыслію, выработанною заранѣе чрезъ знакомство съ разными отвлеченными теоріями. Необходимо прежде всего приступить къ разсмотрѣнію и изученію фактовъ и явлений природы и жизни. Въ настоящее время какъ-то неприлично стало смотрѣть на нихъ свысока, ставить науку на высшую подставку въ сравненіи съ природой и жизнью и рѣдиться въ докторскую мантію ученаго Вагнера, надменнаго своею ученостію. Пришло время сознанія, что вся наша вѣковая ученость — ничто въ сравненіи съ безконечнымъ разнообразiemъ силъ и законовъ, проявляющихся въ явленіяхъ природы и жизни, что не они зависятъ отъ нашихъ знаній, а наши знанія зависятъ отъ ихъ благосклонности предстать предъ испытующимъ умомъ въ болѣе или менѣе доступной, ясной формѣ; что вся наука живеть не гдѣ-нибудь на сторонѣ, а именно **внутри**, въ самыхъ явленіяхъ природы и жизни, и что, наконецъ, пора уже бросить важно драпироваться въ ученую мантію и обратить ее въ мѣшокъ для сбора фактовъ. Теперь наука извлекается не изъ головы, а изъ нѣдра самой жизни и при-

роды. Такъ ли дѣлается въ нашей грамматикѣ? Слѣдуетъ ли изученіе русскаго языка этому плодотворному методу, методу индуктивному? пока нигдѣ этого не видно. До сихъ поръ дѣлалось такимъ образомъ: бралась готовая теорія и прилагалась прямо къ русскому языку. Основою для всей грамматической школы служили грамматики латинскія и нѣмецкія. Иногда же къ русскому языку примѣнялись выводы общей филосовской грамматики. Но въ томъ и другомъ случаѣ, очевидно, методъ былъ совершенно противуположный тому, которому слѣдуютъ въ настоящее время другія науки. Понятно, что примѣнимость теоріи къ языку могла быть лишь формальная, которою довольствовались до известнаго времени, а потомъ, въ виду господства индуктивнаго метода, ложь формальной примѣнимости теоріи къ языку явилась предъ современными живыми интересами науки со всею очевидностью.

Извѣстно, что наука интересна тогда, когда въ ней видна жизнь, когда задача и стремленія ея ясны для каждого, когда польза ея очевидна. Было время, когда всѣ безусловно вѣрили, что грамматика учитъ правильно говорить и писать, когда, следовательно, практическая польза ея, какъ науки, была ясна для каждого. Тогда никто не сомнѣвался въ необходимости ея изученія, и всѣ ея правила и исключенія заучивались съ безпримѣрнымъ терпѣніемъ. Но это время прошло. Опытъ доказалъ, что грамматика не научаетъ говорить и писать правильно, что и то и другое гораздо легче пріобрѣтается навыкомъ, практикою. Къ чему же стало трудиться надъ скучнымъ, безжизненнымъ заучиваніемъ правилъ и исключеній? Явилось разочарование въ истинно научномъ значеніи грамматики и началось общее броженіе относительно пользы ея въ преподаваніи. Одни старались отстоять то, съ чѣмъ сжились впродолженіе многихъ лѣтъ; другие, напротивъ, мало по малу доходили до полнаго отрицанія необходимости ея преподаванія. Послѣ сочиненія В. Гумбольдта: *Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts* 1836 г. *). (О различії строенія языковъ и его вліянії

*.) Я привѣзъ заглавіе книги В. Гумбольдта по нѣмецкіи, не смотря на то, что она переведена г. П. Билиарскимъ на русскій языкъ, потому что, по моему мнѣнію, оно въ переводѣ передано не точно; а именно такъ: «О различії организма человѣческаго языка и т. д.» В. Гумбольдтъ вовсе не смотрѣть на отдельные языки, какъ на особые организмы языка въ толѣ смыслъ, въ какомъ

на духовное развитие человеческого рода), и книги Беккера: «Organism der Sprache» 1841 г. пошла въ ходъ новая мысль о языке, какъ о живомъ организмѣ. Тогда увидѣли, что существующая теорія не представляетъ въ себѣ ничего живаго. Книга Беккера очаровала всѣхъ ясностью и систематическою послѣдовательностью логической постройки. Не многие видѣли въ ней ту отвлеченность пониманія языка, отъ которой далекъ былъ В. Гумбольдтъ. Успѣхъ книги Беккера былъ значительнѣе успѣха сочиненія Гумбольдта, особенно у насъ въ Россіи. Отвлеченное построение теоріи языка мы приняли за лучшую исходную точку для изученія и своего родного языка, тоже въ смыслѣ живаго организма, и отвлеченную теорію ученаго нѣмца стали прилагать къ языку русскому. Явилась замѣчательная брошюра г. Басистова: «Система Синтаксиса», написанная подъ непосредственнымъ вліяніемъ книги Беккера. Брошюра была встрѣчена многими похвальными отзывами. Дѣйствительно, никто лучше г. Басистова не представилъ другаго примѣненія теоріи нѣмецкаго ученаго къ языку русскому. Она до сихъ порь не потеряла значенія для преподаванія такого синтаксиса русскаго языка, который долженъ быть основанъ на общихъ логическихъ началахъ языка. Но дѣло въ томъ, что ни нѣмецкій ученый, ни его русскій послѣдователь вовсе не представили языка въ томъ смыслѣ, въ какомъ желали. Читая книгу Беккера и систему синтаксиса г. Басистова, языкъ представляется скорѣе въ образѣ скелета, изсущенаго логическимъ отвлечениемъ и отчищеннымъ систематическимъ иаложеніемъ, чѣмъ въ образѣ живаго организма, въ которомъ жизнь обнаруживается безпрерывнымъ движениемъ и икрою красокъ. Оттого взглядъ на языкъ, какъ на живой организмъ, остался до сихъ порь въ русской грамматикѣ, или, вообще, въ примѣненіи его къ изученію русскаго языка, не болѣе, какъ звучною фразою. Обыкновенно съ понятіемъ о языке, какъ о живомъ организмѣ, соединяется представление о чемъ-то цѣльному, подобномъ животному. Такое представление, какъ ни пластиично само въ себѣ, не имѣеть однако истиннаго смысла. Оно-то именно и ведетъ къ построению изъ данныхъ теорій цѣленыхъ системъ въ родѣ брошюры

придавать организму языка другой нѣм. ученый Беккеръ. Выраженіе *der menschliche Sprachbau* не равняется выражению: *der menschliche Sprachorganismus*. Иначо В. Гумбольдтъ называлъ бы свое сочиненіе такимъ образомъ: *Ueber die Verschiedenheit der menschlichen Sprachorganismen* и т. д.

г. Басистова. Подчинять живое развитіе языка цѣльной, замкнутой системѣ, основанной на логическихъ отвлеченныхъ началахъ, не значитъ признавать живую сторону языка, какъ организма, за содержаніе, достойное науки. Со взглядомъ на языкъ, какъ на живой организмъ, слѣдуетъ обходиться въ примененіи его къ дѣлу осторожнѣе. Языкъ не есть животное. Слѣдовательно, подъ организмомъ языка нельзя разумѣть того же, что разумѣютъ подъ организмомъ животнаго. Послѣдній, дѣйствительно, представляетъ цѣлое, ограниченное тѣло, части которого служатъ для всѣхъ тѣхъ отправленій, которыми опредѣляется полная жизнь организма. Но языкъ не есть опредѣленное цѣлое, замкнутое въ своей индивидуальности. Онъ въ самыхъ мѣлкихъ своихъ частяхъ является открытымъ со всѣхъ сторонъ къ воспріятію и творчеству въ одно и тоже время. Все то, что обязано своимъ бытіемъ животному, становится бытіемъ вицѣніемъ въ отношеніи къ послѣднему; напротивъ, все то, что создано и воспринято языкомъ, становится достояніемъ его же внутренняго содерянія, входить въ его же объемъ. Языкъ въ мірѣ мысли почти то же, что воздухъ въ мірѣ вещества. Какъ воздухъ проникаетъ и обнимаетъ собою предметы вещественной природы, такъ языкъ проникаетъ и обнимаетъ собою умственный міръ человѣка. Поэтому языку приличнѣе свойство единства, нежели свойство цѣлостности. И съ этой точки зрѣнія онъ скорѣе представляется, какъ единый органъ, нежели, какъ цѣлый организмъ. Припомнимъ, что В. Гумбольдтъ опредѣляетъ языкъ не образовательнымъ организмомъ мысли, а образовательнымъ органомъ мысли. Die Sprache ist der bildende Organ des Gedankens, говоритъ онъ, (языкъ есть образующій органъ мысли), т. е., что мысль человѣческая находитъ въ языкѣ средство получить соответственный (хотя и не торжественный) опредѣленный образъ. И такъ языкъ, понимаемый въ смыслѣ средства, дарованного человѣку Богомъ для выраженія мысли, не представляетъ собою цѣльного организма, а напротивъ, скорѣе долженъ быть понимаемъ, какъ единый органъ. Но разматриваемый съ звуковой стороны, т. е. какъ рѣчь, слово, звукъ, онъ имѣеть въ этихъ отдѣльныхъ частяхъ множество другихъ органовъ, служащихъ къ отправленіямъ его жизни, и потому съ этой точки зрѣнія можетъ быть названъ организмомъ. А такъ какъ жизнь языка, разматриваемая съ звуковой его стороны, есть ничто иное, какъ безпрерывное раз-

витіе, совершающееся въ отдельныхъ его частяхъ посредствомъ живой рѣчи, то языкъ, понимаемый въ смыслѣ живаго организма, хотя представляется чѣмъ-то сложнымъ изъ частей и подчиненнымъ въ своихъ частяхъ закону разнообразія и развитія, однако все же — не цѣлымъ и замкнутымъ, какъ организмъ животнаго.

Посмотримъ теперь, какимъ образомъ этотъ взглядъ можетъ быть примѣненъ къ дѣлу. Извѣстно, что языкъ каждого человѣка есть выраженіе его личнаго міросозерцанія, а языкъ отдельнаго народа есть выраженіе міросозерцанія этого народа. Извѣстно также, что какъ одинъ человѣкъ отличается множествомъ признаковъ отъ другихъ людей, такъ точно и каждый народъ имѣть множество признаковъ, отличающихъ его отъ другихъ народовъ. Это разнообразіе дробится до такой бесконечности, что становится способнымъ усвоить отъ наблюденія. Дѣйствительно, мы прежде всего замѣчаемъ сходныя признаки именно потому, что ихъ находится менѣе въ подобныхъ предметахъ. Они первые бросаются намъ въ глаза своими крупными чертами. Между тѣмъ ясно, что не въ сходствѣ заключается жизнь не только народа, человѣка, но и каждого предмета, какъ существа отдельнаго, — а въ тѣхъ почти неуловимыхъ отличительныхъ признакахъ, которые требуютъ особенно тщательнаго и строгаго наблюденія надъ собою. Указать на тѣ предѣлы, въ которыхъ можетъ развиваться законъ разнообразія въ данномъ предметѣ, значитъ опредѣлить то, въ чёмъ заключается жизненная сторона его, значитъ провести тѣ типическія черты, которыя съ одной стороны отличать его отъ другихъ подобныхъ предметовъ; съ другой, — дадутъ возможность понять все то разнообразіе признаковъ, которое только можетъ быть свойственно данному предмету. Въ этомъ случаѣ самые полезные примѣры подаютъ намъ лучшіе поэты, которые именно такимъ образомъ поступаютъ въ очертаніи характеровъ своихъ личностей. Они не высчитываютъ всѣхъ малѣйшихъ подробностей, отличающихъ характеръ одного лица отъ другого, а наимѣчаютъ только тѣ черты, которыя необходимы для выраженія его индивидуальности; но дѣлаютъ это такъ, что все остальное легко дополняется воображеніемъ читателя, или зрителя. Лицо, художественно изображенное поэтомъ въ его произведеніи, живеть полною жизнью и можетъ быть всегда отличено отъ тысячи другихъ подобныхъ же личностей. Оно влечетъ къ себѣ

каждаго, умѣющаго цѣнить истинное и прекрасное, не потому что оно добродѣтельно, а потому что естественно, вѣрно правдѣ жизни, слѣдовательно, живо. Почему бы точно такимъ же образомъ не поступать и каждой частной грамматикѣ въ дѣлѣ изученія языка какаго либо народа? Мы думаемъ, что дѣло частной грамматики именно состоить въ томъ, чтобы указать на тѣ типическія черты и стороны языка, которыми онъ съ одной стороны отличается отъ другихъ языковъ, съ другой открываетъ обширное поле своихъ до безконечности разнообразныхъ признаковъ. Если мы будемъ изучать природный нашъ русскій языкъ, отыскивая въ немъ то, въ чёмъ онъ сходствуетъ съ другими языками, то, по нашему мнѣнію, мы никогда не будемъ въ состояніи понять его собственной индивидуальности, никогда онъ не представитъ для насъ въ своемъ живомъ образѣ — и въ русской грамматикѣ никогда не будетъ пахнуть русскимъ духомъ. Указывать же въ ней на однѣ только формы и звуки, отличающія русскій языкъ отъ другихъ, все равно, что отличать одного человѣка отъ другаго только по платью да по бородѣ. Но чтобы отыскивать типическія черты русскаго языка, нужно имѣть дѣло непосредственно съ самими фактами, и отказаться отъ всякой предвзятой теоріи, а главное, отъ ложнаго ея права предписывать языку правила и громоздить подъ **ними** исключенія. Само собою разумѣется, что въ такой теоріи, которая думаетъ, что она, а не самый языкъ, научаетъ говорить (даже говорить!) и писать правильно, могутъ быть всякия правила и всякия исключенія. Въ сущности все это — ничто иное, какъ произволъ, внесенный въ науку; ибо въ языкѣ нѣтъ и не можетъ быть исключений. Вотъ прекрасныя слова покойнаго К. С. Аксакова, котораго общий взглядъ на изученіе русскаго языка мы вполнѣ раздѣляемъ: «на языкѣ надобно смотрѣть иначе, надо взглянуть въ него глубже, понять внутренній смыслъ употребленія, внутренній законъ жизни, и тогда всякое дѣйствіе языка получитъ стройность и разумъ, исключенія исчезнутъ сами собою; ихъ въ сущности и нѣтъ; они — порожденія неловкихъ грамматикъ, которые приходятъ къ языку съ виѣшними правилами, съ наружными мѣрками, и, стараясь подвести подъ нихъ все, что не подходитъ (а при такомъ наружномъ способѣ постиженія, — разумѣется, неподдающихся явленій множества), относятъ все неподходящее къ исключеніямъ, изъ которыхъ являются новыя исключенія и т. д. Грамматика такая вся наполнена множествомъ виѣш-

нихъ правилъ съ безчисленными исключениями, и все таки не схватываетъ языка даже и наружно, а о духѣ языка, о разумѣ его, безъ котораго нѣтъ истиннаго пониманія, уже и говорить нечего. Такой взглядъ на грамматику вообще ложенъ, но онъ становится вдвое ложнымъ въ отношеніи къ нашему языку, когда правила иностранныхъ грамматикъ, совершенно чуждыя нашему языку, насильственно къ нему прилагаются и искажаютъ его до крайности» (Опытъ русской грамматики. Ч. I, в. 1, стр. 142. Москва 1860).

Однимъ изъ самыхъ важныхъ препятствій въ примѣненіи этого живаго взгляда на языкъ къ изученію послѣдняго служить застарѣвшая привычка брать для частной грамматики начала изъ общей теоріи языка, или изъ общей философской грамматики, въ которую входитъ сравнительно-исторический методъ. Отъ этой привычки страдаетъ живой интересъ изученія языка не только въ нашей русской грамматикѣ, но, сколько мнѣ известно, и въ грамматикахъ другихъ языковъ. Оттого каждая изъ нихъ изобилуетъ кучами исключеній. Причина заключается, кажется, въ томъ, что съ одной стороны все *общее*, основанное на сходствѣ, усвоивается легче; съ другой стороны въ томъ, что грамматики обыкновенно пишутся прежде, чѣмъ изучается языкъ въ его полномъ живомъ употребленіи. Берется книжный языкъ, по немъ составляются правила, сообразно съ общими понятіями о языкахъ; эти правила приводятся въ научную систему, и такимъ образомъ изготавливается учебникъ, или грамматика, въ которой теорія языка постоянно находится въ борьбѣ съ живою рѣчью. Общее, отвлеченнное, родовое пониманіе никакъ не мирится съ частнымъ, единичнымъ живымъ явленіемъ въ языкахъ. Остюда съ одной стороны улетучивается истинность, дѣйствительность, полная конкретность значенія объясняемаго явленія въ изучаемомъ языкѣ, съ другой — является безпрестанная сбивчивость въ самой теоріи. Объяснимъ то и другое примѣрами. Глаголъ, говорить русская грамматика, выражаетъ *дѣйствіе*: таково значеніе его во всѣхъ языкахъ. Но это значеніе есть общее, родовое понятіе о глаголѣ, которое получается логическимъ отвлеченіемъ однихъ сходныхъ признаковъ и отбрасываніемъ всѣхъ тѣхъ, которыми глаголъ одного языка отличается отъ глагола въ другомъ языкахъ — и русская грамматика, довольствуясь такимъ определеніемъ, никакъ не объясняетъ того живаго, конкретнаго значенія, которое глаголъ имѣть

въ русскомъ языке. Оттого это общее опредѣленіе остается мертвымъ, безжизненнымъ по отношенію къ языку русскому въ русской грамматикѣ. Стало быть, чтобы получить понятіе о русскомъ глаголѣ, какъ обѣ особомъ разрядѣ словъ въ русскомъ языке, слѣдовало бы внести въ содержаніе общаго опредѣленія тѣ отличительныя признаки, какіе глаголь имѣть въ русскомъ языке. Тогда общее отвлеченнное понятіе о глаголѣ станетъ единичнымъ, конкретнымъ, которое познакомитъ съ русскимъ глаголомъ въ томъ живомъ значеніи, въ которомъ онъ употребляется у русского народа. Находясь подъ влияніемъ общаго, отвлеченного взгляда на русскій глаголъ, нѣтъ возможности объяснить въ немъ: — ни развитія свойственныхъ ему формъ въ языке, ни ихъ значенія безъ того, чтобы не подчинить того и другаго новымъ общимъ выводамъ, непосредственно истекающимъ не изъ его сущности, а изъ того же отвлеченного понятія о глаголѣ. Такъ, принявъ, что глаголь есть дѣйствіе, можно легко приписать русскому глаголу такія формы, которыхъ у него нѣть въ дѣйствительности, какъ у дѣйствія русскаго глагола. Извѣстно, что дѣйствіе въ отвлеченномъ смыслѣ, ничто иное, какъ мыслимое движение во времени; стало быть, всякому дѣйствію, какъ дѣйствію, должно быть свойственно время. Замѣтивъ свойство времени въ понятіи о дѣйствіи и способность многихъ языковъ выражать время дѣйствія особыми формами, какъ не приписать и русскому глаголу той же способности выражать время особыми формами? Особенно, если къ этому еще примѣшиваются чувство патріотизма какого-то страннаго рода. Чтобы не говорить бездоказательно, мы укажемъ на сочиненіе г. Шафранова: «о видахъ русскихъ глаголовъ» 1852 г. Авторъ знатокъ греческаго языка и, разумѣется, любить свое отечество. Все это прекрасно и достойно въ немъ уваженія; но дѣло въ томъ, что какъ его ученость, такъ и патріотизмъ послужили не къ добру въ изслѣдованіи о видахъ русскихъ глаголовъ. За теоріей греческаго языка онъ вовсе не видѣть и не хочетъ видѣть такой особенности русскаго глагола, которую могли замѣтить даже нѣмцы Фатеръ и Таппе, и доказываетъ, что русскій глаголь имѣть тѣ же свойства, какъ и глаголь греческаго языка; а чувство патріотизма заставило его доказывать, что русскій глаголь имѣть столько же формъ для временъ, сколько и языкъ греческій, извѣстный по своему бо-

гатству въ этомъ отношеніи. Мы не менѣе любимъ свое отечество, но рѣшительно не можемъ ни въ чёмъ согласиться съ авторомъ относительно его пониманія русскаго глагола. Для насъ его сочиненіе важно, какъ предостереженіе, — не писать изслѣдованій по русскому языку на основаніи параллели и сходства съ какимъ либо другимъ языкомъ. Если такую опасность представляетъ сравнительное изученіе языка съ однимъ или двумя (греч. и нѣмецкимъ, какъ г. Шафранова) языками, то чего можно ожидать отъ такого изученія, которое основано на сравненіи съ общюю теорію языка? Не всякий языкъ по своимъ формамъ подходитъ подъ общіе выводы теоріи. Если общая теорія имѣеть право толковать о временахъ глагола, то отсюда вовсе не слѣдуетъ, чтобы каждый языкъ, какъ бы онъ богатъ ни былъ по формамъ, непремѣнно имѣеть формы для выраженія этихъ временъ глагола. Если она говорить о значеніи падежей, то отсюда никакъ не слѣдуетъ, что во всякомъ языке есть падежныя формы для выраженія извѣстныхъ отношеній. Очевидно, что каждый языкъ развивается относительно своихъ формъ сообразно не съ общимъ понятіемъ о какой нибудь части рѣчи въ языке вообще, а съ тѣмъ единичнымъ понятіемъ, которое она получаетъ въ живомъ употребленіи своего языка. Такъ изъ общаго понятія о глаголѣ, какъ о дѣйствіи, нельзя объяснить напр. въ русскомъ языке — степеней глагола и того круга формъ, которымъ онъ ограничивается въ живомъ употребленіи точно также нельзя объяснить и отсутствія въ немъ иныхъ формъ, какъ напр. формъ для временъ и наклоненій. Но кромѣ того частная грамматика, заимствующая свои начала изъ общій, представляетъ безпрестанную сбивчивость въ собственной теоріи, какъ наукѣ. Особенно эта сбивчивость проявляется тамъ, где приходится дѣлить какое нибудь родовое понятіе на его виды. Въ этомъ случаѣ основаніе дѣленія въ русской грамматикѣ постоянно двоится между формою и живымъ значеніемъ. Напримѣръ: нашли родовое понятіе въ глаголѣ — залогъ (genus). Спрашивается: какіе его виды? Сейчасъ грамматика русская отвѣтчикъ: дѣйствительный, страдательный, средній, возвратный, взаимный, общій. Прекрасно! Почему залогъ именно такъ дѣлится на свои виды? Выходитъ, — и по формѣ и по значенію. Это особенно видно изъ опредѣленія общаго залога. Грамматика опредѣляетъ его такимъ образомъ: общій залогъ имѣеть значеніе средняго, а форму — возвратнаго. Еще примѣръ. Есть, гово-